

Борис Юлианович Поплавский

Аполлон Безобразов



Борис Поплавский
Аполлон Безобразов

«Public Domain»

1932

Поплавский Б. Ю.

Аполлон Безобразов / Б. Ю. Поплавский — «Public Domain»,
1932

«...Шел дождь, не переставая. Он то отдалялся, то вновь приближался к земле, он клокотал, он нежно шелестел; он то медленно падал, как снег, то стремительно пролетал светло-серыми волнами, теснясь на блестящем асфальте. Он шел также на крышах и на карнизах, и на впадинах крыш, он залетал в малейшие изубрины стен и долго летел на дно закрытых внутренних дворов, о существовании коих не знали многие обитатели дома. Он шел, как идет человек по снегу, величественно и однообразно. Он то опускался, как вышедший из моды писатель, то высоко-высоко пролетал над миром, как те невозвратные годы, когда в жизни человека еще нет никаких свидетелей...»

Содержание

Глава I	5
Глава II	15
Глава III	22
Глава IV	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Борис Юлианович Поплавский

Аполлон Безобразов

Глава I

*Oiseau enferme dans son vol, il n'a jamais
connu la terre, il n'a jamais eu d'ombre.
Paul Eluard¹*

Шел дождь, не переставая. Он то отдалялся, то вновь приближался к земле, он клокотал, он нежно шелестел; он то медленно падал, как снег, то стремительно пролетал светло-серыми волнами, теснясь на блестящем асфальте. Он шел также на крышах и на карнизах, и на впадинах крыш, он залетал в малейшие изуврины стен и долго летел на дно закрытых внутренних дворов, о существовании коих не знали многие обитатели дома. Он шел, как идет человек по снегу, величественно и однообразно. Он то опускался, как вышедший из моды писатель, то высоко-высоко пролетал над миром, как те невозвратные годы, когда в жизни человека еще нет никаких свидетелей.

Под тентами магазинов создавался род близости мокрых людей. Они почти дружески переглядывались, но дождь предательски затихал, и они расставались.

Дождь шел также в общественные сады и над пригородами, и там, где предместье кончалось и начиналось настоящее поле, хотя это было где-то невероятно далеко, куда, сколько ни пытайся, никогда не доедешь.

Казалось, он идет над всем миром, что все улицы и всех прохожих соединяет он свою серую солоноватую тканью.

Лошади были покрыты потемневшими одеяниями, и, в точности, как в Древнем Риме, шли нищие, покрывши головы мешками.

На маленьких улицах ручьи смывали автобусные билеты и мандаринные корки.

Но дождь шел также на флаги дворцов и на Эйфелевой башне.

Казалось, грубая красота мироздания растворяется и тает в нем, как во времени.

Периоды его учащения равномерно повторялись, он длился и пребывал, и казался самой его тканью.

Но если очень долго и неподвижно смотреть на обои в своей комнате или на соседнюю голубоватую стену на той стороне двора, вдруг отдаешь себе отчет, что в какой-то неуловимый момент к дождю примешиваются сумерки, и мир, размытый дождем, с удвоенной быстротой погружается и исчезает в них.

Все меняется в комнате на высоком этаже, бледно-желтое закатное освещение вдруг гаснет, и в ней делается почти совершенно темно.

Но вот снова край неба освобождается от туч, и новые белые сумерки озаряют комнату.

Тем временем часы идут, и служащие возвращаются из своих контор, далеко внизу зажигаются фонари, и на потолке призрачно появляется их отражение.

И еще дальше идет, и безнадежно теряется время.

Огромные города продолжают всасывать и выдыхать человеческую пыль. Происходят бесчисленные встречи взглядов, причем всегда одни из них стараются победить или сдаются, потупляются, скользят мимо. Никто не решается ни к кому подойти, и тысячи мечтаний расходятся в разные стороны.

¹ Как замкнутая в своем полете птица, он никогда не касался земли, не бросал на нее свою тень. Поль Элюар (фр.).

Тем временем меняются времена года, и на крышах распускается весна. Высоко-высоко над улицей она греет розовые квадраты труб и нежные серые металлические поверхности, к которым так хорошо прильнуть в полном одиночестве и закрыть глаза или, примостившись, читать запрещенные родителями книги.

Высоко над миром во мраке ночей на крыши падает снег. Он сперва еле видим, он накапливается, он ровно и однообразно присутствует. Темнеет и тает. Он исчезнет, никогда не виденный человеком.

Потом, почти вровень со снегом, вдруг неожиданно и без переходов приходит лето.

Огромное и лазурное, оно величественно раскрывается и повисает над флагами общественных зданий, над мясистой зеленью бульваров и над пылью и трогательным безвкусием загородных дач.

Но в промежутках бывают еще какие-то странные дни, прозрачные и неясные, полные облаков и голосов; они как-то по-особенному сияют и долго-долго гаснут на розоватой штукатурке маленьких отдаленных домов. А трамваи как-то особенно и протяжно звонят, и пахнут акации тяжелым сладким трупным запахом.

Как огромно лето в опустевших городах, где все полузакрывается и люди медленно движутся как бы в воде. Как прекрасны и пусты небеса над ними, похожие на небеса скалистых гор, дышащие пылью и безнадежностью.

Обливаясь потом, вниз головою, почти без сознания спускался я по огромной реке парижского лета.

Я разгружал вагоны, следил за мчащимися шестернями станков, истерическим движением опускал в кипящую воду сотни и сотни грязных ресторанных тарелок. По воскресеньям я спал на бруствере фортификации в дешевом новом костюме и в желтых ботинках неприличного цвета. После этого я просто спал на скамейках и днем, когда знакомые уходили на работу, на их смятых отельных кроватях в глубине серых и жарких туберкулезных комнат.

Я тщательно брился и причесывался, как все нищие. В библиотеках я читал научные книги в дешевых изданиях с идиотическими подчеркиваниями и замечаниями на полях. Я писал стихи и читал их соседям по комнатам, которые пили зеленое, как газовый свет, дешевое вино и пели фальшивыми голосами, но с нескрываемой болью, русские песни, слов которых они почти не помнили. После этого они рассказывали анекдоты и хохотали в папиросном тумане.

Я недавно приехал и только что расстался с семьей. Я сутулился, и вся моя внешность носила выражение какой-то трансцендентальной униженности, которую я не мог сбросить с себя, как кожную болезнь.

Я странствовал по городу и по знакомым. Тотчас же раскаиваясь в своем приходе, но оставаясь, я с унижительной вежливостью поддерживал бесконечные, вялые и скучные заграничные разговоры, прерываемые вздохами и чаепитием из плохо вымытой посуды.

– Почему они все перестали чистить зубы и ходить прямо, эти люди с пожелтевшими лицами? – смеялся Аполлон Безобразов над эмигрантами.

Волоча ноги, я ушел от родных; волоча мысли, я ушел от Бога, от достоинства и от свободы; волоча дни, я дожил до 24 лет.

В те годы платье на мне само собою мялось и оседало, пепел и крошки табаку покрывали его. Я редко мылся и любил спать, не раздеваясь. Я жил в сумерках. В сумерках я просыпался на чужой перемятой кровати. Пил воду из стакана, пахнувшего мылом, и долго смотрел на улицу, затягиваясь окурком брошенной хозяином папиросы.

Потом я одевался, долго и сокрушенно рассматривая подошвы своих сапог, выворачивая воротничок наизнанку, и тщательно расчесывал пробор – особое кокетство нищих, пытающихся показать этим и другими жалкими жестами, что-де ничего-де не случилось.

Потом, крадучись, я выходил на улицу в тот необыкновенный час, когда огромная летняя заря еще горит, не сгорая, а фонари уже желтыми рядами, как некая огромная процессия, провожают умирающий день.

Но что, собственно, произошло в метафизическом плане оттого, что у миллиона человек отняли несколько венских диванов сомнительного стиля и картин Нидерландской школы малоизвестных авторов, несомненно, поддельных, а также перин и пирогов, от которых неудержимо клонит к тяжелому послеобеденному сну, похожему на смерть, от которого человек восстает совершенно опозоренный? «Разве не прелестны, – говорил Аполлон Безобразов, – и все эти помятые и выцветшие эмигрантские шляпы, которые, как грязно-серые и полуживые фетровые бабочки, сидят на плохо причесанных и польсевших головах. И робкие розовые отверстия, которые то появляются, то исчезают у края стоптанной туфли (Ахиллесова пята), и отсутствие перчаток, и нежная засаленность галстуков».

Разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове? Не ясно ли вам, что Христа, несомненно, во многие места не пускали бы, что он был бы лысоват и что под ногтями у него были бы черные каемки?

Но я не понимал всего этого тогда. Я смертельно боялся войти в магазин, даже если у меня было достаточно денег. Я жуликовато краснел, разговаривая с полицией. Я страдал решительно от всего, пока вдруг не переходил предел обнищания и с какой-то зловеще-христианской гордостью начинал выставлять разорванные промокшие ботинки, которые чавкали при каждом шаге.

Но, особенно летом, мне уже чаще становилось все равно. Я ел хлеб прямо на улице, не стряхивая даже с себя крошек.

Я читал подобранные с пола газеты.

Я гордо выступал с широко расстегнутою, узкою и безволосою грудью и смотрел на проходящих отсутствующим и сонливым взглядом, похожим на превосходство.

Мое летнее счастье освобождалось от всякой надежды, но я постепенно начинал находить, что эта безнадежность сладка и гражданская смерть весьма обитаема и что в ней есть иногда некое горькое и прямо-таки античное величие.

Я начинал принимать античные позы, т. е. позы слабых и узкоплечих философов-стоиков, поразительные, вероятно, по своей откровенности благодаря особенностям римской одежды, не скрывающей телосложения.

«Стоики тоже плохо брились, – думал я, – только что мылись хорошо».

И раз я, правда, ночью, прямо с набережной, голый, купался в Сене.

Но все это мне тяжело давалось.

Душа моя искала чьего-то присутствия, которое окончательно освободит меня от стыда, от надежды и от страха, и душа нашла его.

Тогда начался некий зловещий нищий рай, приведший меня и еще нескольких к безумному страху потерять то подземное черное солнце, которое, как бесплодный Сэт, освещало его. Моя слабая душа искала защиты. Она искала скалы, в тени которой можно было бы оглядеться на пыльный, солнечный и безнадежный мир. И заснуть в тени ее в солнечной глуши, с безумной благодарностью к нагретому солнцем камню, который ничего и не знает о вашем существовании...

Именно такой человек появился, для которого прошлого не было, который презирал будущее и всегда стоял лицом к какому-то раскаленному солнцем пейзажу, где ничего не двигалось, все спало, все грезило, все видело себя во сне спящим.

Аполлон Безобразов был весь в настоящем. Оно было, как золотое колесо без верха и без низа, вращающееся впустую от совершенства мира, сверх программы и бесплатно, на котором стоял кто-то невидимый, восхищенный от мира своим ужасающим счастьем.

Все каменело в его присутствии, как будто он был Медузой.

Огромным, раскаленным, каменным пейзажем казался мир, одним из тех пейзажей Атласских гор, напоминающих ад, над которыми по воздуху проносился Симон-волхв. Но он не был жесток. Малейшие травы могли расти в его присутствии и птицы сидеть на его руках, настолько он отсутствовал. А он был где-то далеко-далеко, по ту сторону рассветов и закатов, где и время и вечность, и день и ночь, Озирис и Сэт, и все живые и все умершие, и все грядущие, и все надежды, и все голоса присутствуют вместе и никогда не расстаются, и никогда не смолкают и откуда со слезами на глазах нисходят в жизнь.

Так иногда путешествуешь по городу, как по девственному лесу. Перейдя через сотню трамвайных линий, остановившись на множестве углов, я подошел к реке, отошел от нее и вновь возвратился к ней. Солнце заходило над сожженными им коричневыми деревьями набережной, над мягкими лиловыми асфальтами и над душами людей, доверху полными теплой и смутной, прекрасной и безнадежной усталостью городского леса. На оранжевой воде, на маленькой лодке у самой набережной неподвижно сидела человеческая фигурка, казавшаяся с этого моста совершенно маленькой. Не знаю, сколько времени я стоял на мосту, но каждый раз, когда я поворачивал глаза в ее сторону, фигурка продолжала неподвижно сидеть, не поворачиваясь и не меняя позы, с беспечностью и настойчивостью, показавшимися мне сперва бесполезными, затем нелепыми и, наконец, прямо-таки вызывающими.

«Все рыбаки – мечтатели», – подумал я, но этот человек даже не был рыбаком и, следовательно, не имел никакого оправдания своей вызывающей неподвижности. Наконец, после, вероятно, целого часа терпеливого издевательства, мне вдруг захотелось спуститься вниз и заставить этого человека подняться или повернуться, или, наконец, просто показать ему взглядом, что он не имеет никакого права на такое поведение. Кроме права совершенно тупого или, наконец, просто спящего человека, или просто права нищих, которые иногда с поразительной физической выдержкой в невероятно неудобных позах костенеют на скамейках общественных садов. Наконец, потеряв всякое терпение, я спустился вниз, неловко, как заговорщик, шагая по крупным камням, подошел к плоскодонной лодке, в которой на железной цепи и на аршин от берега уже, вероятно, несколько часов уплывал, оставаясь на месте, загадочный человек. Сперва я с притворной скромностью прошел мимо него, но затем, видя, что он не обращает на меня никакого внимания, прямо-таки в отчаянии я остановился перед самой лодкой и уставился в его необыкновенно волевой профиль – смесь нежности и грубости, красоты и безобразия.

На первый взгляд, этот профиль имел почти комическое выражение, но в нем было что-то, что совершенно отбивало всякую охоту смеяться даже заядлому шутнику. Было совершенно очевидно, что человек этот давно заметил меня. Он даже колебался одну минуту, не повернуть ли ему голову в мою сторону, но потом решился с очаровательным консерватизмом продолжать рассматривать пышно разметавшиеся по небу огненные волосы утопающего солнца. Его гладко выбритое лицо казалось выбитым из меди, и глаза имели то особое, но, скорее, женщинам свойственное выражение, которое появляется у светских людей, когда они отлично видят что-нибудь, но, еще лучше, не замечают. Наконец, я отступил два шага назад и с необыкновенной легкостью истерического припадка прыгнул в лодку. Этот странный поступок объясняется тем, что уже несколько минут вообще все было очень странно, все плыло по открытому морю необычайности, но необычайности как бы самодвижущейся, саморазвивающейся, необыкновенности снов и самых важных событий царства воспоминаний, тоже случившихся как бы сами собой, тоже несомых каким-то попутным ветром предопределения, рока и смерти.

Сидящий неподвижно слегка улыбнулся, как будто ждал этого, но продолжал сидеть, едва-едва скользнув по мне ничего не выражающим взглядом людей, охотно, но иронически

приглашающих сесть. Теперь лицо его было отчетливо видно, все озаренное великолепным угасанием остывающего неба. Лицо это было так обыкновенно и, вместе с тем, так странно, так банально и, вместе с тем, так замечательно, что я на очень долгое время как бы погрузился в него, хотя оно было непроницаемо, даже вдруг успокоившись от удивления. Я совершенно забыл необычайный способ моего появления в лодке.

Под умело сдвинутой набекрень серой фуражкой, как бы перелетевшей сюда из фока-фильмы, изображающей жизнь подонков Нью-Йорка, ровно, твердо и даже добродушно смотрели небольшие широко расставленные голубые глаза, которые имели ту особенность, отчетливо осознанную мною значительно позже и чрезвычайно редко встречающуюся среди европейцев особенность, состоящую в том, что они ровно ничего не выражали. Поэтому-то я с первого раза приписал им добродушие, ибо приписывать им можно было решительно все. Не дай Бог вам, милый читатель, встретиться когда-нибудь с таким добродушием, ибо добродушие Аполлона Безобразова именно, может быть, и было самую страшную его особенность.

Наконец, этот человек переменил свою удобную позу на другую, очевидно, еще более удобную, которую мне, вероятно, пришлось бы искать целый час, после чего я не усидел бы в ней больше пяти минут. Он облокотился на левый локоть и правой рукой вытащил пакет с желтыми папиросами и плоские спички. Потом закурил и выбросил спичку за борт, соблюдая при этом такую экономию в движениях и такую художественную простоту их, что я, в глубине души начинавший робеть, в верхних слоях ее вновь изобразил сильнейший гнев.

Тогда Аполлон Безобразов отвел глаза от холодеющего неба и насмешливо посмотрел на меня. Глаза его отнюдь не были похожи на глаза гипнотизера, они не блестели ни загадочно, ни томно, они не темнели, а ровно поворачивались вместе с лицом не как живые существа, а, скорее, как толстые чечевицы красивых ацетиленовых ламп на башнях маяков. Но глаза эти отнюдь не были стеклянными, скорее, прозрачность их была чем-то замутнена, как это бывает у европейцев, долго живших под тропиками, или у курильщиков опиума; но эти глаза отнюдь не были сонными, они не спали и не бодрствовали. Это были обыкновенные глаза, совершенно ничего не выражавшие. Это были глаза совершенно особенные, которым я никогда не видел подобных.

Теперь Аполлон Безобразов смотрел на меня довольно долго, и, очевидно, это разглядывание имело свои фазы, постепенно отменявшие одна другую. Вероятно, образ мой проходил через тень и свет. Многие профессии и мирозерцания примеривались к нему и не прививались, потому что Аполлон Безобразов, никогда не ошибавшийся в людях, любил колебаться, любил одновременно утверждать и отрицать, любил долго сохранять противоречивые суждения о человеке, пока вдруг, подобно внезапному процессу кристаллизации, из темной лаборатории его души не выходило отчетливое и замкнутое суждение, содержащее в себе также и момент доказательства, которое потом и оставалось за человеком неотторжимо, как проказа или след огнестрельной раны. В этом сказывалась какая-то особенная, чисто интеллектуальная мораль его или, вернее, чрезвычайно моральное отношение к своим мыслям, как будто они были живые существа, относительно которых он оставался совершенно пассивен, как бы не желая ничем форсировать их развития.

– Что вы скажете об Н.? – спросил я его однажды об одном человеке, который давно нам надоел и, наконец, умер и уже, несомненно, ничего не мог прибавить к комплексу воспоминаний, связанных с ним.

– Я ничего не могу сказать о нем, но жду, – ответил он, говоря о себе, как будто о реке или водопаде, по которому что-то должно было откуда-то проплыть.

Но обо всех этих превращениях моего для него бытия я догадался только значительно позже, когда заметил, что Аполлон Безобразов обращается со мной, как будто я и вправду был одновременно и дураком и умным, и слабым и сильным, и нежно интересующим его и далеким от него бесконечно. В тот же памятный день или, вернее, вечер это разглядыванье показалось

мне совершенно бесполезным, как разглядывание узоров на обоях, и потому оскорбительным, настолько взгляд Аполлона Безобразова был неизменен, прост и величественно банален, как взгляд Джиоконды или стеклянных глаз в витринах оптиков. Казалось, этим взглядом нельзя было извлечь решительно ничего из бытия, хотя, в сущности, Аполлон Безобразов совершенно не слушал своих собеседников, а только догадывался о скрытом значении их слов по незамечным движениям их рук, ресниц, колен и ступней и, таким образом, безошибочно доходил до того, что, собственно, собеседник хотел сказать, или, вернее, того, что он хотел скрыть.

Но, в сущности, взгляд Аполлона Безобразова даже не был оскорбительным, он не удостоивал давать нам права оскорбляться, он ровно скользил и пребывал одновременно, он покоился и был несмываем, как отблеск из окна. Потом Аполлон Безобразов вдруг медленно встал и жестом Ксеркса, приказывающего выпороть море, бросил наполовину выкуренную папиросу в воду, потом тем же красивым и экономным способом, которым он все делал, снял и опять надел фуражку на самые глаза и приготовился выпрыгнуть из лодки, но раздумал и, потянув ее за цепь, спокойно сошел с нее с несколько даже стариковским приседанием на одну ногу.

У Аполлона Безобразова были неширокие, но совершенно прямо поставленные плечи греческих юношей и необыкновенно узкие бедра, придававшие его фигуре вид египетского барельефа или американского матроса. Он был довольно хороший легкий атлет, и все его тело было как бы выточенным из желтоватого апельсинового дерева, хотя он вовсе не имел вида сильного человека.

Тогда я тоже неловко спрыгнул с лодки (почему-то вдруг он сошел, а я спрыгнул) и пошел за ним, твердо решив не отставать от этого человека ни на шаг, пока он со мной не подерется или не примет меня в свой круг, потому что вокруг него всегда присутствовал как бы невидимый, правильный, но непроницаемый круг, даже для тех, кого он держал в своих объятиях или ударял по лицу, хотя я заметил, что в разговоре с самыми простыми людьми – матросами, цирковыми акробатами или женщинами – этот круг вдруг исчезал, хотя, может быть, именно потому, что для них этот круг и не существовал, и он становился почти сердечным, ибо Аполлон Безобразов по мере сил и лени всегда старался скрыть свою профессию и образование и прямо-таки сердился и отстранялся от человека, который, долго просчитав его за приятного и недалекого человека, вдруг изменял о нем свое мнение, изучая для этого и художественно подражая мелким движениям очень простых людей, их способу надевать шляпу, здороваться и закуривать. «Ведь пришел же Христос инкогнито, – говорил он иногда, – и уж, наверно, не постыдно нам, простым смертным, защищаться от тех невежливых и безвкусно требовательных взглядов, которые мы кидаем на заведомо умного человека, в нашем присутствии не вмешивающегося в оживленный спор». И Аполлон Безобразов легко пошел вперед, но вдруг повернулся и, насупившись, вернулся обратно к лодке. В этой лодке мы просидели еще около часу, в который моя усталость, скука, чувство соперничества, желание уйти и остаться, желание осмеять Аполлона Безобразова и, наконец, почти броситься на него с кулаками дошли до такой степени, что этот момент по своей мучительной остроте незабываем для меня. Но Аполлону Безобразову, как видно, что-то нужно было додумать, дочувствовать, и он совершенно забыл обо мне, всецело погрузившись в интеллигентное созерцание воды и неба, которые непрестанно изменялись, зеленели и голубели, багровели и оставались теми же.

Вдоль набережной медленно, как траурные иллюминации под дождем, загорались зеленые газовые фонари. Там проплывали автомобили и шумели грузовики, и пыльные деревья раскачивались в такт визгливой и отдаленной музыке. Была ночь 14 июля, и где-то уже хлопали шутихи и визжали дети, а над рекой восходила луна, и, может быть, именно ее-то и ждал Аполлон Безобразов. Огромная, мутно-оранжевая, как солнце, наконец покоренное земным притяжением, как пьяное солнце, как лживое солнце, смотрела она своим единственным и еще теплым глазом без зрачка, своей гигантской тяжестью подавляя теплую железную крышу и

дальние низкие острова. Потом она поднялась немного выше и просветлела и, как дрожащие руки проснувшегося от припадка, протянула к нам по воде белую линию отражения.

А тем временем с противоположной стороны тихо захлопали отдаленные выстрелы ракет, и низкорослыми кустами стала вырастать и падать, зажигаться и тухнуть фантастическая растительность фейерверков. Тихо поднимались они над рекой, лопались и отцветали, оставляя за собой в воздухе серые сгоревшие двойники. Наконец, раздался последний взрыв, беспорядочный, как расставание человека со сном, и уже ясно стало слышно пение труб и скрипок, взвизгиванье кларнетов и частый, как похоронный звон, удар цимбал. Теперь небо было синим, вода черной, луна белой, а наши лица темно-серыми. Аполлон Безобразов вдруг взмахнул в воздухе руками, как будто выплывая из чего-то, затем это движение перешло в умелое потягивание приятно уставшего человека, и мы встали, спустились с лодки и поднялись на мост.

Так, подобно Дон Кихоту и Санчо Пансе, подобно Данте и Вергилию, подобно двум врагам, подобно двум приятелям, подобно двум банальным прохожим, шли мы по безлюдным улицам, по безлюдным площадям и бульварам, пока вдруг не попадали в толпу танцующих, толпу оголтелых и порозовевших, которые, разлетевшись в минуту прекращения музыки, с полуоткрытым ртом смотрели на нас, как бы ища подтверждения чему-то, предположим, тому, что сегодня праздник и все хорошо, и, не найдя его, тотчас же отворачивались прочь. По мере углубления в ночь музыканты становились все красней и веселей, будто бы толстели на глазах. Они пили пиво, отдуваясь и проливая его. Они надувались и продолжали играть с невероятным напряжением и такую же выносливостью. Казалось, лошадь заплакала бы от усталости и отошла бы, отмахиваясь, но они все продолжали играть, хотя казались уже готовыми умереть. Иногда происходила война между двумя оркестрами, старающимися переиграть друг друга: в одном были тромбон и саксофоны, в другом были однообразные старики, старавшиеся как можно больше шуметь; конечно, первые побеждали.

Скоро мы подошли к бульвару Сен-Мишель, поднялись по нему и, как два заговорщика, стали подходить к кварталу Монпарнас, где интернациональная богема, почти сплошь состоящая из людей, презирающих Францию, больше всех шумит и веселится в день 14 июля. Но Аполлон Безобразов и я давно привыкли к зрелищу и, найдя облитый пивом столик на самой окраине танцующих, уселись, как свои люди, смотреть на чужие танцы.

Тогда Аполлон Безобразов подозвал лакея, и лакей неожиданно повиновался, и заказал ему простого белого вина, которое неизменно и продолжал пить в течение всей этой короткой летней ночи.

Пил он очень много, не щурясь и не моргая, по-видимому, быстро пьянея. В одиннадцать часов ночи он казался совершенно пьяным, около часу, как будто бы, снова трезв, а в два часа даже глаза его порозовели от алкоголя, и он, стараясь попасть не в такт музыке, медленно махал в воздухе своей красной рукой и не замечал этого. Тогда, когда я счел его совершенно пьяным, я, чтобы осмеять его, неожиданно спросил:

– Сколько вам лет?

Тогда он вдруг моментально остановил свою руку, на что, казалось, был совершенно неспособен, и совершенно отчетливо и равнодушно произнес:

– Столько же, сколько и вам.

Сказав это, он опять принялся махать рукой и опять не в такт музыке. Очевидно, ему было приятно махать именно не в такт, хотя это было очень трудно, потому что в поздний час этой душной ночи, казалось, даже дома и деревья размякали от музыки и от сладострастия и, как сплошной разноцветный студень, медленно вибрировали вместе с людьми в такт величественно-пошлой музыке оркестров.

Казалось, даже теплый асфальт подымался и опускался от ее прикосновения, и, очевидно, только один Аполлон Безобразов еще защищался от нее, но и он вдруг остановил руку, и встал, и на мягких, точно резиновых, ногах прошел между танцующими и затерялся во тьме. Через

пять минут он вернулся с целой компанией, которая хлопала его по плечу, галдела и пела, – очевидно, со своей компанией, которую он в точности знал, где найти.

Меня тоже тотчас же стали хлопать по плечу и чуть ли не целовать пьяными губами, на которых прилипли коричневые крошки табаку.

Они все вместе стали петь грубо и очень весело, хотя песни были очень нежные и очень грустные. Потом Аполлон Безобразов заспорил с бледным семнадцатилетним юношей, носящим готовое платье, с неуместной и беспомощно-нежной улыбкой на полных губах, о том, кто из них перепрыгнет через большее количество стульев. Они поставили по одному и по два стула посередине мостовой, и оба перепрыгнули препятствие, потом они поставили три стула, и Аполлон Безобразов перепрыгнул, а юноша этот в конце прыжка сел на землю и больно ударился, но не заметил этого, ибо был совершенно пьян.

Аполлон Безобразов с невероятной жестокостью пригласил его прыгать через четыре стула. Когда четыре стула были поставлены, кругом стали собираться, потому что, действительно, почти невозможно было пьяному человеку перепрыгнуть через эту длинную желтую изгородь.

Юноша разбежался и остановился, как бы очнувшись, и снова отошел, но Аполлон Безобразов не дал ему остановиться во второй раз. Он странно крикнул на него, и тот, как бы во сне, отделился от земли и упал в самую гущу желтого железа и разбитых стаканов. Аполлон Безобразов, совершенно не обращая на него внимания, снова поставил все стулья в один ряд и, улыбаясь, снял фуражку.

Я заметил, что он снимал фуражку только в редких случаях жизни и тогда становился прямо-таки опасным. Он отошел довольно далеко, потом еще дальше, потом еще раз еще дальше, что уже было прямо-таки глупо, разбег был слишком большой, теперь я видел, как приподымается его верхняя губа, обнажая ровные зубы, и вдруг – сорвался с места и побежал; разбег был, действительно, слишком большой, пробегая мимо меня, он, очевидно, заметил это и чуть замедлил, но до стульев оставалось пять шагов. Казалось, он остановится, но он издал какой-то странный звук, как будто ахнул, звук, полный, как мне показалось, невероятного злорадства и какого-то дикого торжества, и, прямо-таки пролетев последние три шага, прыгнул – и перепрыгнул препятствие, взметнув ноги к самой голове и задев только спинку четвертого стула, отчего упал на руки и буквально перелетел через голову, и, тотчас же очутившись на ногах, рассмеялся с таким откровенным удовольствием, что все мы невольно замолчали.

Теперь Аполлон Безобразов сидел совершенно неподвижно, хотя лицо его, как полная противоположность этому, было озарено и обезображено отблеском того жесточайшего прилива воли, который он только что пережил.

Он сидел спокойно и, по-видимому, наслаждался, хотя на углах его губ еще запеклась кровь из разбитых десен, которую он далеко сплевывал на мостовую.

Таким образом кончилась моя первая попытка составить о нем определенное мнение и внести его в определенную категорию, например, одинокого философа, кончилась столь же прискорбно, как и многие последующие. Аполлон Безобразов, к которому я стал уже привыкать и даже смотреть тем собственническим оком, которым мы смотрим на все понятное, вдруг отодвинулся от меня в первозданный мрак, как это всегда потом случалось, когда я пытался успокоиться относительно него на определенной мысли – как будто сесть на стул в его присутствии.

Личность Аполлона Безобразова никогда не позволяла садиться в его присутствии, она держала его собеседника в непрерывной и сладкой тревоге, которая вызывает в нас прекрасную идею чистой возможности. Для него не существовало внутреннего рока, которому подчинены души еще более, чем тела – року внешнему. Его вчерашние чувства ни к чему его не обязывали сегодня. И я часто, после некоторого отсутствия, почти не мог узнать его при встрече, даже походка его менялась, звук голоса. Долго знать Аполлона Безобразова означало присут-

ствовать на столь же долгом, разнообразном и неизмеримо прекрасном театральном представлении, сидеть перед сценою, на которой беспрерывно меняется цвет облаков и реки каждую секунду текут вспять и по новому руслу; какие-то люди проходят, улыбаются, говорят красивые, странные и почти бессмысленные вещи; они встречаются, они расстаются и никогда не возвращаются обратно, ибо Аполлон Безобразов со всех сторон был окружен персонажами своих мечтаний, которых один за другим воплощал в самом себе, продолжая сам неизменно присутствовать как бы вне своей собственной души, вернее, не он присутствовал, а в нем присутствовал какой-то другой, и спящий, и грезящий, и шутя воплощавшийся в своих грезах, и этот другой держал меня в своей власти, хотя я часто бывал сильнее очередного его воплощенного двойника.

«Когда проснется спящий?» – думал я и ясно чувствовал, что никогда, что для него все мы имеем ровно такую же степень реальности, какую имеют те наши сны, которые мы, продолжая спать, все же именно осознаем снами, то есть наименьшую из нам доступных.

Он как будто всегда находился вне себя, и, часто даже поправляя себя, как завравшегося актера, он превращался в свою противоположность и в противоположность этой противоположности. Но эта новая противоположность не была его первоначальным «я», а каким-то новым, третьим состоянием, подобно окончательному возвращению духа самому себе перед самой смертью, но не в самого себя, ибо «я» человека тогда не объемлет, а объемлемо, не окружает со всех сторон, как атмосфера, а, наоборот, как бы окружено со всех сторон нашим бытием, как золотой остров, как остров в закате, как остров смерти.

Но постепенно необыкновенное возбуждение Аполлона Безобразова прекращалось, глаза остывали и превращались в то, чем они были обычно, и какая-то дикая воля заметно отливала от него, поза теряла свою напряженность, и он как бы повисал на стуле.

Минуту мне казалось, что он заснул, и он, действительно, спал одну минуту, причем его рука автоматическим движением подперла обычно легко им носимую голову, и на губах, как слепая змея, медленно поползла испуганная и отвратительная усмешка. Но через минуту он опять бодрствовал, пил светло-зеленое вино, похожее на густой туман, и курил папиросу за папиросой, окружая себя облаками голубого дыма, ибо Аполлон Безобразов не затягивался, а дым, выходящий из ноздрей незатягивающегося человека, – голубой, а у других – желтовато-серый.

Перейдя крайний предел опьянения, назначенный на эту ночь, я также стал постепенно отрезвляться, и окружающее нас многоцветное марево, в свою очередь окруженное маревом темным, расчленилось и распадалось на отдельных танцующих, на отдельные столики, засыпанные шелухой какоуэт, на отдельные лица, необыкновенно красные или необыкновенно бледные над смятыми и почерневшими за ночь воротничками.

Меня тошнило и клонило ко сну.

Наконец меня стало тошнить по-настоящему, и я ушел в *lavabo*.²

Наконец стало светать. Ровно засинел восток, и вдали над головами танцующих стали медленно гаснуть зеленые звезды фонарей.

Над Монпарнасским вокзалом взошла светлоперстая Венера, и небо порозовело, готовое проснуться. Изнутри и вовне тоже что-то просыпалось, смолкало и расцветало. Теперь лицо моего противника было почти прекрасно, в неверном свете утра голубые и фиолетовые отблески всходили на него.

Усталое и странно неподвижное, оно было совсем новым и совсем не таким твердым, как этой ночью. Оно смягчилось, но как-то безотносительно, ни к чему. Оно осталось неживым. Это было лицо совсем чужого человека. Необычайно глубокий сон лежал на нем, бодрствующую

² Туалет, умывальная комната (*фр.*).

щем, и переменчивый свет. Оно физически о чем-то мечтало, неуловимо и медленно кривясь, прищуриваясь и улыбаясь, хотя странный дух, живущий в нем, явно не участвовал в этом.

Но это было новое мечтание, не объясняющее и не объяснимое предыдущим. Все прошедшее не оставило на нем никаких следов. Казалось, фиолетовый дождь рассвета начисто смыл с него воспоминания ночи, и оно даже несколько удивленно и неподвижно смотрело прямо перед собой.

И вдруг физически ошутимо, как рвота, со дна горбом поднялась жесточайшая жалость к этому неподвижному. Я стал задыхаться, я склонился к столу и горько заплакал.

И вот расплывшееся и раздвоившееся изображение подало голос. Он был сладок, весел и спокоен.

– Чего там плакать в хорошую погоду. Пойдемте-ка лучше спать. Смотрите, солнце взошло, все к чему-то готовится, самое время спать, выставив из-под одеяла огромную грязную ногу. А еще – мыться горячей водой, страшно приятно после бессонной ночи мыться горячей водой, молодеешь тогда, и совсем будто бодрое настроение, и вдруг засыпаешь каменным сном.

Глава II

*Добро рождается из зла. Зло рождается из добра. И когда все это
кончится?*
Тао Тэ Кинг

Может быть, день клонился к вечеру. Но в жаркой полутьме, где мы сидели полураздетыми и говорили, было по-прежнему тяжело. По-прежнему нас клонило ко сну, но не хотелось наружу, ибо снаружи было только одно сплошное теплое море дождя, в котором медленно и в неизвестном направлении плыли мы в глубоком трюме огромного черного дома. Только стол с неподвижной посудой был освещен; прямо над ним в глубине зеленоватой оконной шахты, как пароходный иллюминатор, белело толстое полупрозрачное стекло, по которому с утра мягко стучал тяжелый июльский дождь, то затихая по временам, то опять принимаясь с новой силой. Иногда белесо вспыхивала молния, тяжело перекатывалось отдаленное громыхание, и опять дождь падал, не переставая, среди тяжелых и душных сумерек нескончаемого дня.

Но, вероятно, он все же клонился к вечеру, этот бесконечно трогательный, тяжелый и серый летний день, когда мясистая зелень каштанов закрывает небо, когда все окна раскрыты и на мокрых улицах тяжело вращаются громоздкие колеса карусели, оглашая воздух паровозными свистками своих двигателей. Когда в тирах хлопают монте-кристо и потные солдаты пьют теплое желтое пиво и слушают под намокшими тентами, как тяжело и чуждо падает дождь на красивые рекламы писсуаров.

Вертикальная река света между нами уже давно сделалась голубоватой, а теперь синела и лиловела, в то время как мы погружались во мрак, как будто тонули, забытые в трюме океанского парохода. А молчаливый водопад сумерек все низвергался и низвергался, бесшумно разбиваясь о серое дерево стола, и было удивительно, сколько их еще могло поместиться в широкой и низкой комнате под крышей высокого старинного дома, в углу заставленной тележками уличных торговек узкой и театральной площади Политехнического училища.

В то время вокруг на бесчисленных колокольнях и старинных зданиях били часы, далеко до назначенного часа начинали бить и долго еще после него били, запаздывая и мечтая. Они даже среди дня были явственно слышны, а ночью это были целые разговоры и споры часов между собою, когда вдруг кто-то из них высоко-высоко и странно возгласил час, близкий к заре; на мгновение воцарялось молчание, и вдруг далеко-далеко и полные как бы всем разочарованием и усталостью мира, как будто из ада, отвечали им еле слышно и явно запоздалые хриплые звоны.

Среди бесконечных выступов и уклонов темной черепицы, среди отвесов и маленьких, никому, кроме чердачных зрителей, не видимых, покрытых железом надстроек, где так чисто и длительно, так нежно и свободно падали и разбивались стеклянные розы дождя и медленно, едва двигаясь в воздухе, опускались таинственные бабочки снежинок.

Как хотелось мне всегда прилечь и заснуть на таком выступе, среди труб, желобков и кривизн, так далеко от земли, в таком покое и одиночестве и, вместе с тем, не в скалистых горах, а здесь, почти в центре огромного города.

Действительно, кажется, начинало темнеть, у потолка медленно накапливались опаловые слои папиросного дыма, похожие надолгие размышления подростков, угасающих от туберкулеза в этих огромных саркофагах из гнилого дерева.

Но где-то там, по ту сторону стола и света, как мертвая Офелия, как маска Медузы с полужакрытыми глазами, еще плавало спокойное и нежное лицо Аполлона Безобразова. Он говорил, он уже давно говорил, и давно я то слушал его, то слушал лишь звук его слов, то

слушал дождь, то слушал бой часов за дождем, то, кажется, спал, то просыпался к жизни и думал о том, который бы мог быть теперь час.

Потом мы оба молчали, быть может, часами, и тем временем еще глубже утонувшая комната погружалась в сумерки, и из еще большего отдаления возникал и вспыхивал голос, когда разговор возобновлялся под синевшим высоко-высоко над нами, как вход в железную могилу, ночным четырехугольником окна, ибо комната была уже доверху полна темно-синевой звездной водою ночи.

– Древние смеялись над христианами, – говорил Аполлон Безобразов: – «Вы преувеличиваете жертву своей жизнью и любите театральные кровавые слезы. Посмотрите, как римские солдаты умирают». Конечно, Христос был еврей и книжник, но когда Эпиктетов хозяин закрутил его в специальный станок, чтобы насильно, посредством блоков, растянуть ему хромоту ногу, философ, с некоторой даже заботой о его коммерческом благе, только сказал ему: «Смотри, сломаешь мне ногу!» А когда тот, действительно, разорвал ему последние связки, прибавил назидательно: «Видишь, вот и сломал». Что сделал Христос рядом с этим? Да если бы и гений погибал, зачем он нарушал благопристойность и плакал? Не была ли его смерть вообще неприличная человеческая сторона его жизни? Всякая неудача есть позор. О ней следует молчать, как о карточном проигрыше. Да и как вообще он мог заметить, что умирает; очевидно, он принадлежал к тем, для которых смерть есть смерть, ибо жизнь была жизнью, чем-то, чего он жаждал, а не сном во сне. Почему он не улыбался на кресте и не стыдился своей смерти, как отрывки, например, как это делали римляне?

– Ну, допустим, что страдания Христовы ему ничего не стоили, ибо даже римский солдат страдал, улыбаясь, – соглашался я, – а страдание маленьких и слабых? Да и как вы вообще можете защищать совершенство мира? Подумайте! Разве вам не ясно, что даже если вы были бы творцом мира, вы создали бы его много нежнее и счастливее, может быть, даже красивее, а его нечто, побольше человека, создавало!

– Да откуда вы знаете, – как будто возмутился вдруг Аполлон Безобразов, – что цель мира заключается в счастье людей или в красоте, да сами вы можете ли вынести зрелище чужого счастья и не предпочитаете ли ему явно возвышенную трагедию и благородную гибель? Разве не любите вы тайно самую трагедию мира? Если бы я создавал мир, я, вероятно, создал бы его еще более трагическим, я во много раз увеличил бы в нем количество боли, жестокости, болезней и всевозможных тягот. Разве сами вы не презираете загробную жизнь, ибо мысль о ней лишает ваши земные испытания всякой реальности и делает их корыстными. К сожалению, она существует. Но что-то не позволяет интенсифицировать муку мира и тем приблизить ее раскрытие, постигание его смысла. И это что-то есть жалость.

– Раскрытие какого смысла?

– Смысла любви, ибо это любовь породила мир. На глубине его она постигается именно в момент безвинной гибели и одиночества с безумною остротой. Здесь она понимает, что есть мировая причина и вина, принимает на себя все грехи мира, превращаясь в жалость; отрицает себя как утвердительницу жизни, ибо всякая жизнь – страдание; возвращается постепенно к исходному небытию. Там самосознается основа мира. Утверждая себя, она порождает вечность боли и количества, свой крестный путь. Достигши же самосознания, возможного лишь через отпадение, лишение себя даже имени и, наконец, нахождение себя, она отвращается от себя, ищет отдыха, возносится на небо; жалея же мир, ищет угасить в нем дух, ибо дух – начало всякой муки. Тогда круг завершается. Лучшие, наиболее сухие души погибают в огне разума, как Фаэтон, вознамерившийся управлять колесницею Аполлона; более тяжелые души тонут в воде материальности. Природа слабеет с каждым днем, вещества распадаются, и снова прекрасная ночь покрывает все.

– Да, но чему служит постигание, если постигший умирает?

– А зачем это жить вечно? Понял себе, возрадовался, пожалел все, и вон из музыки, разве можно вечно слушать симфонию? Думается, наоборот даже, чем острее она, тем меньше времени ее можно вынести. Ибо за прекрасным до счастья таится прекрасное до боли, понять которое – погнубить.

– Ну, а те, которые умерли, не поняв?

– Они могут простить Богу.

– Простить можно за себя, ну, а за других, не смогших даже простить?

– Мы и они одно: кто себя не жалеет, имеет право и других не жалеть.

– Но скажите, – пытался я защищаться или, вернее, защитить что-то дорогое мне и миру, – если бы нужно было вам выбрать между двумя мирами: миром, где все было бы свободным, миром, где все подчинялось бы человеку, где по желанию все могло бы изменяться и возникать из ничего, и миром, в котором все было бы сковано, все навеки предопределено, все неизменно и детерминировано, необходимо. Какой бы вы выбрали? – с отчаяньем спрашивал я говорящий мрак перед собою. Короткая пауза, потом совершенно спокойно, но как бы из отдаления:

– Мир необходимый.

– Почему?!

– Так...

Какой-то странный звук, вроде горькой усмешки, и все.

– Аполлон Безобразов! – кричу я, не выдержав, наконец, этого. – Аполлон Безобразов, вы спите, что ли?

– Я? Нет, я не сплю, а может быть, и сплю, а что такое?

– Ну, а тогда зачем все?

– Не зачем, а почему все.

– Ну, хотя бы почему?

– Все спит сперва без сновидений, затем по железной необходимости просыпается, ибо забыло опыт прошлого и, любя, не может оставаться в себе, заворачивается в новый сон воображения. Там, вообразив сына своего свободным, теряет власть над ним, подчиняется его свободе, падает в свое отражение, преследуя себя, опускается все глубже в стихию воды, погибает в объективности и, умерши в своем сне, вновь начинает просыпаться. Сквозь все формы рвется на воздух, сквозь воздух видит свое средоточие в огне, постигает себя, удивляется себе, жалеет себя, отвергает себя, поднимается к огню, низводит страшный суд. И вновь все, безумно просяив, погасает и спит миллиарды лет.

Так вечно качается качалка Диониса, сознание и бытие, и то одна, то другая сторона превозмогает, так что мир периодически то тонет в воде, то гибнет в огне. Но вы еще не распрощались с бытием, хотя уже любовь, а не жажда удерживает вас в нем. Я же уже предался сознанию, и вам кажется, что я уже погиб, а мне кажется, что вы еще не жили. Вы еще плачете, значит, вы еще не доблестны. Я же доблестен по-своему, но напряжен и строг к себе, это значит, что я еще не достиг непоколебимости, конечной бескачественности. Ибо мы очищаемся и побеждаем себя, чтобы мыслить. Но когда мышление раскрывается, оно распускается в нас само, оно мыслится, а не мы его мыслим; выясняется, что в разуме нет личной жизни, всякое «я» становится бесполезным, и поэтому мышление печально, смиренно, и страх мышления справедлив. Помните: «ценою жизни ты мне заплатишь за любовь»?

Молчание. Опять, и еще отдаленнее:

– Бытие родилось за счет смерти истинного бытия. Бытие есть воображение, принятое за реальность, посреди которого вообразивший родился сам, как герой своего сна. Однако во сне же он начинает подозревать, что он спит. Поняв это, он начинает пробуждаться от сна; пробудившись, исчезает, как тема сна, вместе с обстановкой и героем сна. Однако он не имеет места в бодрствовании, ибо он и сон, субъект и объект рождаются и умирают вместе, а трансценден-

тальное сознание субъекта невозможно. Однако оно есть истина. Все исчезает на ее пороге, и я стою на пороге. Однако оно есть храм, и я на пороге храма. Оглядываясь назад, я вижу бесконечно прекрасный, озаренный вечерним солнцем, прощающийся со мною мир. Поняв и исчезнув, я освобожу его от самого себя в себе и его от меня в нем.

– Этим летом как дивно глубоко небо. Вы же лучше живите среди ночи, бойтесь Аполлона, служите подземным богам. Любите жизнь божественно-конкретно, в ночи, в тайне. Ибо дерево познания есть смерть в огне. Так же, как дерево жизни есть смерть в воде. Но огонь только спит в воде. Погрузившись, он создает теплоту, красоту и Эрос, тогда как в себе он – холодная яркость, бесформенность и покой. Это я говорю вам, потому что я вас жалею, хотя жалость и ошибка, ибо она только увеличивает и обостряет чувство ценности жизни, своей и чужой. А вы должны учиться не ценить жизнь и легко умирать.

И вдруг мне показалось, что я смотрю в огромный телескоп и что в поле его окуляра, искусственно приближенный, уже очень далеко, абсолютно за пределами голоса быстро отдаляется металлический воздушный корабль старой конструкции, а на борту его, приветствуя фуражкой, стоит Аполлон Безобразов с совершенно красным лицом, и огромная надпись развевается за кормою: «Меланхолия».

И вдруг я снова просыпаюсь и спросонья почему-то спрашиваю:

– Ну, а искусство?

Молчание. Усмешка. Потом, как бы про себя или по телефону:

– Искусство меня не интересует.

Совершенно темно, даже страшно. Вдруг ослепительно ярко вспыхивает спичка, оставляя за собою зеленые круги в глазах. И снова слышно, как падает дождь, как где-то далеко звенят трамваи.

Меня знобит слегка, но мне уже не хочется ни встать, ни говорить. Наконец, я ощупью переползаю на кровать и скоро вижу уже сны.

Падаю в какие-то золотые колодцы, полные облаков, и долго, может быть, миллион лет лечу в них все ниже и ниже, в иные миры, к иным временам.

В детстве я часто засыпал посередине молитвы; как хорошо было бы мне тогда умереть посередине сна.

Холодное лето. Часы на камине. Бездонность мутного зеркала. Смеркается слава. Сонливость. Нечистая свежесть подушек. Усталость. Сон. Опять неподвижность. Больное сиянье постели. Истома.

За смеженными веками непрерывный танец золотых снежинок, точек, атомов, звезд. Куда опускаются звезды? С улыбкой смеркается слава. Лицо беззащитно темнеет, спускаясь куда-то среди звезд.

Смеркаться, сходить, обнажаться. Лишаться защиты и памяти. Черты распрямляются. Брови не так уже накрепко сжаты. Лицо. Ты можешь быть, наконец, прекрасным, ибо никто тебя больше не видит. Ибо ты уже не видишь себя, ибо скоро увидишь ты свой первый сон.

Ты спишь, Безобразов, смеркается слава твоего неподвижного взгляда. Но ты еще не покинул земли. Туманно и глухо к тебе долетают голоса собеседников. Но ты еще слышишь их. Хотя, может быть, ты видишь их во сне. Глубже холод подушек. Ярче мерцанье эфира, все ясно на миг засыпающим. Они от всего отделяются. Их сон уже совсем о другом. Тише, я как будто опять просыпаюсь. Я слышу соседние жизни. Кто эти люди?

Как параллельные нити, как проволоки из окна поезда, как ответные голоса в тумане. Почему они именно? Почему с ними на земле? Почему на земле? Так есть, так было все время. Может быть, уже было давно, и сейчас только сон о прошедшем. Параллельные рельсы. Долго-

долго за снегом сверканье огней параллельных вагонов. И вдруг раздвоенье путей, поворот, красная точка, снег.

Где вы, любимые прежде? Молчание... Они никогда не услышат. Звездный снег за окном, заглушающий стук паровоза. Да и где это было, и было ли?

Где этот город, где описан он в сказках? Бесконечные темные улицы, дома, заслоняющие небо, полное неподвижных звезд. И снова дождь. Где-то внизу горят фонари. Бледный человек, отодвинув занавеску, внимательно смотрит на часы в луче фонаря. Скоро ему уходить на работу.

Всю ночь внизу горит свет. Кто-то ворочается за стеною, скрипит кроватью, бредит. Кто-то встает впотьмах. Звенит струя, разбиваясь о дно ночной вазы, все более и более тихим звуком. Еще несколько капель. Все...

Где-то серовато белеет электрическая лампочка среди папиросного дыма, который медленно рассеивается. Там кто-то спит, не раздеваясь, ничком. Вдруг, забыв о боли и страхе, вдруг из хаоса мыслей взятый живым на небо.

Но еще глубже, на третьих дворах и шестых этажах, в низких комнатах без окон или с окнами без света, выходящими в глубокие шахты внутренних дворов, где внизу на проволочной сетке, защищающей мутные стекла, года и года мокнут и выцветают папиросные обертки, газеты и всяческая шелуха.

В глубине, за темными занавесками и туберкулезными ширмами, среди баулов, вешалок, лесенок, грязных кухонь, серых ватер-клозетов без стульчаков, в запахе кала, среди моли, пауков, клопов, мух, мокриц, стрептококков и гонококков, спирохетов, спирилий, коховских палочек и таинственных, невидимых даже в сильнейшие микроскопы возбудителей рака, трахомы, сонной болезни и столбняка.

В саване пыли и сырости в конце десятков задних лестниц, нереально освещенных бледно-зеленым, больным и неподвижным светом газовых горелок и тусклых, пыльно-желтых электрических лампочек низкого напряжения, там, в глубине проходов, коридоров, двориков, уборных и чуланов погасла античная слава неподвижного взгляда Аполлона Безобразова, и он спит, позабыв свое имя и перестав быть. В то время как на десяток верст вокруг высоко над землю в толще большого воздуха еще читают или мечтают в темноте, плачут и кашляют, совокупаются и испражняются, делают себе промывание и впрыскивание, слушают дождь, просыпаются и ворочаются или бесконечно долго, как иноки в подземелье, разговаривают и ссорятся в кроватях, вспоминая обиды, несдержанные обещания, потерянные и растроченные годы, а также длительно высчитывая мелкие суммы, упрекая и насмехаясь, чтобы, наконец, вдруг помирившись, ласкать немые члены, раскрываться, погружаться в живое тепло, мерно двигаться в истоме среди сотен животных запахов, скользя и поворачиваясь, натруждая колени, отдавливая руки и ноги. Глубокое ночное утешенье, теплое забвенье, отпадение, наконец, и глубокий сон, во время которого на изможденные лица восходит глубокий нищий покой средневековых святых.

А грязное платье на стуле, смятое и брошенное, пиджак с пропотелыми подмышками и жалкие брюки со свежими следами уличной грязи, и женские, потемневшие от пота, пояса для поддерживанья чулок, – все это, покинутое на стуле, похоже на неподвижно сидящего человека, фигура которого постепенно, через многие степени и оттенки, появляется в холодном свечении рассвета, как будто медленно выплывая из глубокой воды. И уже скоро где-то чуть слышно застучит будильник, и в предрассветной тишине жалко и тонко голос подаст младенец, ворочаясь в своих мокрых пеленках, и вдруг отчетливо и торопливо застучат далеко внизу стоптанные каблуки, на которых, ежась от утреннего холода, быстро уходят на работу на фабрику обожженные холодной водой, ошеломленные отсутствием сна, больные, бодрящиеся, ежедневные и равнодушные зрители розового возникновения, алого полыхания, желтого

свечения и, наконец, белого исчезновения холодного летнего рассвета, быстро сменяющегося мертвым белесым сиянием дождливого дня.

Трамваи, трамваи, трамваи. Все переполненные, звенящие на пустых улицах. Газ потушает. Грузовые автомобили тяжело катятся к центральному рынку. Белый сумрак. Европа. Зимой те, кто спали, прикорнувшись в подъездах и на ступеньках метро, у самой железной решетки, откуда дышит теплый вонючий воздух подземелья, почерневшие и перекошенные, как-то боком входят в первые кафе или спускаются, наконец, в подземную дорогу, где долго они будут, качая головами, задремав в тепле, кружиться под землю, но и им завидуют спешащие на фабрики; даже они кажутся более счастливыми, вернувшись к правде. Наконец, долгое время спустя, начинается утро служащих и школьников, и владельцев маленьких магазинов и еще, много времени спустя, утро хорошо одетых, лысеющих, считающих, пишущих, богохульствующих, одетых в фильдекосовые носки, рубашки из искусственного шелка, ботинки американского фасона, костюмы английской кройки и добродетельные мысли ужающих, смердящих, калообразных, полных червями, источающих гной спокойных, важных разговоров среди современной мебели из симили дуба, мельхиоров с безалкогольным кофеем, безалкогольным вином и солью, потерявшею соленость; убийцы Христа, язвы и плесень Апокалипсиса. Утро людей, имеющих деньги. Людей, считающих себя правыми.

И наконец, уже позже всех, последнее из утр – посреди грохота, суматохи, яркости и неизмеримо далеко от пустоты, чистоты мусорщиков и перевернутых стульев в кофейнях, среди сбитости с толку, ошеломленности, одышки, геморроидального зуда и поминутно извлекаемых членов и часов. В разгромленных комнатах за спущенными шторами кончается последний тяжелейший, бессмысленнейший сон, в котором фигурируют уже и грохот улицы, и пiski автомобилей, и смятые простыни, и отлеженные руки. Раскрываются медленно глаза уязвленных светом, ошеломленных головною болью, изжогой во рту, усталостью и болью в половых органах, души тех, кто вчера до утра хохотали, острили, кричали, пили фальсифицированные напитки, бессвязно спорили, развратно целовались и длительно и изможденно совокуплялись с кем-то, зачем-то, где-то. И долго будут они с сожалением вычесывать волосы нечистым гребнем, пить воду с жженой магниезией, затем чесать промежности, зевать, читать газеты, пить холодное отельное кофе и, может быть, запрокинувшись, спать до самого вечера.

Но где был Аполлон Безобразов все это время, когда он лежал, завернувшись, как мумия, страшно скорчившись или до странности вытянувшись в позе каменных фигур на древних усыпальницах? Он сам не знал ничего об этом. Его глубокие сны, похожие на обмороки, повергали его часто по возвращении в тяжелую оторопь. Он как бы с трудом припоминал, где он, и не совсем узнавал окружающее. Казалось, что ему наново нужно будет учиться ходить. То огромное, страшное, золотое, то необъяснимое смертному еще ощущал он, как Товий по исчезновении ангела. Все казалось ему иным. Звуки улицы долетали трагически ясно, звали, и кричали, и повторялись за окном. Все казалось ему неведомым и многозначительным. Все удивляло и страшило его столь далеко за ночь отлетевшую душу. Но что, собственно, надо делать? Да вставать, рассекать воздух, поглощать свет, весить. Но, может быть, сегодня с утра начать называться по-другому, не узнавать никого, отпустить бороду, забыть русский язык? Может быть, читать целый день? Но в книгах написано или то, что он уже знает, или то, с чем он не согласен. Пойти днем в кинематограф, напиться с утра пьяным?

Но вот кончился первый переполюх пробуждения. Аполлон Безобразов снова в тысячный раз принял нелепую жизнь. Он еще не двинулся с места, но уже черты его лица распрямились, разгладились. «Необходимость или Провидение, кто Ты, не знаю, неборимое или благое, дай мне, что пожелаешь, отними, что пожелаешь, – вспоминает он, перевирая, двухтысячелетние слова. – Да не греческого развратного и дивного, нет, чего-то римского нам не хватает, чтобы доблестнее жить, ежедневно мыться холодной водой, великодушно прощать судьбе».

И вдруг разом Аполлон Безобразов опять овладел положением, теперь он спокойно встанет, выстирает себе рубашку. Сделает гимнастику и даже сядет читать Аристотеля где-нибудь в городском саду среди отпускных солдат и детей.

Глава III

*Эта любовь к разнообразию и была причиной смерти Адама и всех
его потомков*
Зоар

В те дни настроение мое всегда менялось в зависимости от погоды, как будто от солнца питалась слабая моя душа и вместе с солнцем помрачалась.

В сумеречную погоду в комнате Безобразова день не наступал вовсе; только какое-то бледное свечение появлялось, как будто сквозь глубокую воду доходило оно. А когда на подвижное стекло снег налетал сплошным слоем, в комнате воцарялась ночь. Изредка кто-нибудь из нас поднимался на стул, поставленный на стол, и, подкидывая стекло, освобождал его от снега, на мгновение оглядываясь вокруг, как капитан вынырнувшей подводной лодки. Вокруг, насколько хватало глаз, как белые волны геометрической формы, расстилались выступы, карнизы и отвесы узких и высоких средневековых домов, и вновь лодка опускалась под воду, и было тихо в ней в снежный час.

Иногда Аполлон Безобразов зажигал свечу, ибо величественный хозяин до пяти часов не давал электричества, хотя уже в половине четвертого было совершенно темно. При свече, отбрасывая огромную тень, Аполлон Безобразов читал «Подражание Христу», книгу, в которой он ровно ничего не понимал, тогда как короткого положения «Этики» Спинозы, почерпнутого из дешевой истории философии, ему было достаточно, чтобы до конца овладеть учением, которое ему так легко было самому развить и додумать.

Просыпаясь туманным утром, я долго думал о его жизни, и Аполлон Безобразов, почему-то всегда угадывая мое пробуждение, хотя я не шевелился, предлагал мне идти за молоком и любил разрешать возникающий спор карточной игрой, ибо считал, что жребий есть единственное прямое участие Бога в жизни человека и народов; греки были религиозной нацией лишь до тех пор, пока выбором чиновников и решений руководили жребий и оракул. После чего указанный Провидением спускался в сырой колодезь лестницы и, возвращаясь, заставал товарища своего спящим на разбросанных картах, а на полу догорающую спиртовку с наполовину уже распявшимся, выкипевшим чайником, ибо сон мы считали несомненно важнейшим из наших времяпровождений. Случалось, что долгими дождливыми днями Аполлон Безобразов вообще не вставал с кровати, и я отправлялся гулять один в тотчас же промокавших башмаках, дыры на подметках коих я, по совету Безобразова, изнутри закладывал отрезанными хлястиком. Долго я так ходил с каким-то мрачным воодушевлением, подставляя лицо под холодные брызги, все дальше и дальше во тьму незнакомых улиц правого берега, чтобы, наконец, сдаться, сломиться, и, как будто относимый возвратным течением, как лодка, лишенная управления, медленно возвращался домой, все ниже нагибаясь и уходя в воротник тогда, когда сквозь желтые волны тумана уже загорались газовые фонари, распространяя вокруг себя неяркое сияние, сквозь которое легкими пеленами медленно и неустанно спускались мельчайшие капли дождя. Возвращаясь, я, не снимая пальто и шляпы, часто ничком ложился на кровать и засыпал, чтобы, вдруг проснувшись глубокой ночью от страшного сна, дико озираться вокруг налитую кровью головою. «Безобразов!» – возглашал я в темноте и долго, может быть, нарочно, не получал ответа.

Летом в нашем низком широком гробу под самую крышей, изнемогая от жары, мы спали совершенно голыми, причем, голый же, я ночью со свечою, стоя на кровати, в каком-то остервенении ловил клопов; Безобразов же стоически предоставлял себя им на съедение, и раз я даже видел, как клоп полз по его лицу и он, страдальчески улыбаясь, подобно христианскому святому, нарочно не сбрасывал его, а только плотно закрывал глаза. Впрочем, в жаркие ночи

мы часто спали в Венсенском лесу или на укреплениях города, подкопав по-бойскаутски, ибо Безобразов в детстве был бойскаутом, небольшое углубление под свой правый бок. Все это было позже, но помню зато, с каким особым счастьем проснулся я июльским утром в комнате Безобразова. Ровно и ослепительно-радостно с потолка в комнату падал широкий солнечный луч, от красного плиточного пола розовым сияньем отражаясь вокруг. Вернее, огненный столб стоял посередине комнаты, плотный и имматериальный, весь полный радостно танцующей пылью. Вскоре голый Аполлон Безобразов уже принимал в нем солнечный душ. А из поднятого люка окна, радостно фальшивя, бодро влетал и визжал, повторяясь, нестройный звук фанфары какого-то малочисленного гимнастического общества, проходившего по улице. Какое счастье было мыться в такое утро, вытираться докрасна и без носков, надевши теннисные туфли, без пиджаков, в высоко засученных голубых рубашках очутиться на улице.

В этот час улица была ярка, чиста и празднично пуста, ярко лоснилась черно-фиолетовая торцовая мостовая, движения не было почти никакого, и только у тележек толстые веселые женщины, покрякивая, распродавали остатную мокрую дешевую клубнику. На узкой площади Политехнического училища, куда не всюду за домами доходило солнце, все было ярко и немного театрально освещено отраженным светом. Небо было синее, и на него, прищуриваясь, любовались из своих подворотен или прямо с тротуара толстые чистые люди с багровыми шеями и широко расставленными ногами в мягких туфлях, а около них тоже любовались неведомо чем низкие толстые собаки неопределенной породы, необычайно широкие и добродушные.

В летний день, когда дивно яркое небо, когда все освещено, все согрето, все зелено, все пыльно, все ведет куда-то и за каждым поворотом снится загородная дорога, какую щемящей жаждой тепла и движения наполняется поутру душа бредущего у неудобного зеркала. Вот бы только добрить шею, надеть новую синюю рубашку и, разбрасывая все как попало, вырваться, наконец, к свету и, конечно, к счастью, расправив узкую грудь, зачесав редкие волосы. Так отпускные солдаты весело переключаются, занятые спешным одеванием, шутя и балагуря, высоко через голову надевая гимнастерки, или, пыжась и слегка высунув язык в угол рта, придают последний загадочный блеск армейскому своему сапогу. И вот уже ровно, волосок к волоску, зачесан льняной пробор, и складки рубахи собраны с изумительным, прямо-таки растительным совершенством; еще один озабоченный взгляд в зеркало при воротах казармы, краткая явка фельдфебелю и, наконец, солнечная улица и золотой парикмахерский таз над бульваром.

Но не слишком ли радостно ты собирался, защитник отечества, и за долгий день не разберет ли тебя глухая пивная тощища – ах!

Дело было к вечеру.
Делать было нечего;
Чистили картошку,
Вдарили Антошку.

– Не спешите, – говорил Безобразов, – в солнечный день вырваться к шуму с грязною брагой ожидания в сердце, ибо, за нескончаемый день ничего не найдя и устав в пыли, кто защитит вас под раскаленным небом?

Да, Аполлон Безобразов в совершенстве умел гулять, добродушно и равнодушно, неутомимо и неутомительно, бесцельно, но и с величайшей пользой, без тени зависти и ничего не осуждая, но и ничего не жалея, и это он научил меня этому исканию глубочайшего покоя и равновесия в походке, подобно шествованию иероглифических фигур, и хотя оно в совершенстве никогда мне не удавалось, все же иногда оно давало мне забвение зависти и жалости и то глубокое принятие всех вещей, которое может быть только у египетских колоссов. Так шел

он, низко надвинув легкую фуражку, которой он, как моноклем, заслонял свой тяжелый взор, выставив грудь и загибая при ходьбе ступни вовнутрь, и многие провожали его глазами с безотчетным уважением, ибо он с одинаковым выражением неподвижного добродушия смотрел на лица и на спины, впрочем, больше любуясь нагретыми чудесами малярного искусства или сияющей на солнце покатою цинковой крышей, а еще – дирижаблями. Долго-долго, до боли в шее он следил за ними, прищурившись, с бульвара, и сказочное их шествие в синеве напоминало ему какие-то драгоценные и редко вспоминаемые ощущения снов.

Вдали колокол медленно и хриповато сотрясал воздух, и, видимо, приятно было слушать его сидящим с широко расставленными ногами, хотя, вероятно, никто из них не посещал церкви. И вдруг стремительно, как большие красные и зеленые стрижи, через площадь пронеслись велосипедисты, краснощекие подростки на неудобных гоночных машинах, купленных на долгосрочную выплату.

Наслаждаясь красотой тепло окрашенных поверхностей ставен и стен, этих шедевров малярного искусства, изображающих невиданные каррарские мраморы или редкостные разрезы заокеанского дерева, которым солнце, слегка обесцвечивая и смывая краски, придавало монументальную условную прелесть. Всем этим точкам, полосам, слоям и завиткам воображаемой древесины или порфира, над которыми со средневековой тщательностью трудилась рука современного маляра, в то время как голова его, далеко откинута и слегка склоненная набок, прищуренно созерцала труд свой и вдруг, низко наклонясь над ним, помогала своими движениями выписывать особенно трудные разводы. Мимо вычищенной меди и темно-зеленых пальм, только что вымытых и лоснящихся в деревянных своих ящиках, мимо красивых стандартизованных плакатов из жести с надписью «Basse»³ или «Defense d'afficher»⁴, мимо «Defense d'uriner»⁵, мимо «Docteur spécialiste»⁶, 914 Boulevard Sebastopol⁷, мимо искусственных ручьев непитьевой воды, которая с бодрым шипеньем вырывалась из специальных, вровень улицы вделанных отверстий и предназначалась для мытья водостоков; постоянно – иллюзия искусства – создавала впечатление только что прошедшей грозы под уже синим небом, где медленно и высоко, осеняя мансарды и самодельную мачту для радио, двигалось белое кучевое облако как колоссальный белый воздушный шар.

Из зеленых машин округлым шипящим веером вылетала, пенясь, вода, и уже у самых ваших ног, казалось, вот уже готовая окатить, вдруг сокращалась до незаметной струнки, чтобы вновь, миновав вас, с шумом развернуться, в то время как атлетический водовоз, самодовольно улыбаясь и, как фокусник или скрипач, изучив управление двойною своею струею, как настоящий художник в тысячный раз повторяет все тот же гидравлический маневр и не утомляется им.

Иные улицы были уставлены полосатыми балаганами, где продавались всякие ненужные вещи по баснословно низким ценам, ярко окрашенные и стандартизированного производства. Мороженщики предлагали свои обольщения, которые в глубине цинковых цилиндров являли самые неожиданные и явно химические цвета. Кремовые и зеленые трамваи перегораживали улицу, киоски демонстрировали красоту ног изумительную, ног фотографических (иные даже были удостоены трехцветной печати), во много рядов развешанных на проволоках по страницам порнографических журналов с целью возбуждения запретных ощущений, а также в целях коммерческих и декоративных. Широкие плакаты реяли над улицей, и красовались трехцвет-

³ «Пиво» (фр.).

⁴ «Не расклеивать» (фр.).

⁵ «Мочиться запрещается» (фр.).

⁶ «Врач-специалист» (фр.).

⁷ Севастопольский бульвар, дом 914 (фр.).

ные флаги, которые вдруг в одну ночь вырастают на углах, на временных белых мачтах, над объявлениями об осенних или автомобильных салонах.

Народ теснился среди досчатых палаток, где высокие колеса рулеток с ритмическим треском вращались, то опуская, то поднимая красивые свои цифры, особенно два и восемь, и обещающая счастливым пиленый сахар в коробках, иные даже до пяти килограммов.

И вдруг улица опять опустела, и опять исчезли бесчисленные жирные зады женщин, нарочно колеблемые при ходьбе, а также руки, носы, подмышечные части, напудренные и блестящие кожные покровы, груди различных величин и крепости, брюки и бесчисленные щеголеватые ботинки самых невероятных цветов, включая ярко-синий, которые заключали в себе тайны равного количества носков, более заношенных или рваных, хорошо заштопанных, самодельно стянутых грубой ниткой, подвернутых на пальцах, фильдекосовых, демикотоновых, полушелковых, полшерстяных и отсутствующих. Брюки, заключающие в себе тайны кальсонов, покрытых подозрительными пятнами, груди-тайны не вполне зарубцевавшихся легочных процессов, сердца-тайны денежных мук, мистических чайний и ночных эротических бдений.

Мимо аляповато и небрежно шумящих фонтанов, мимо подростков и газетчика, мимо величественных низких зданий обсерватории, мимо памятника Нею, на зеленой шпашке которого, высоко задранной, размышлял голубь, мимо колымажистых красных двухцилиндровых *taxi de la Marne*, ныне уже вовсе исчезнувших, мимо множества знакомых и милых, ярких и поблекших вещей, единственного зрелища и судилища, предпочтительного всем музеям и Акрополю, безрадостной улицей подошли мы, наконец, к Монпарнасу, и еще раз не смог я сдержать в себе того знакомого подлого, болезненно-радостного оживления, когда-то – ожидания какого-то неведомого счастья среди пестрой и грубой толпы, чаянья, столько раз обманутого, но все вновь и вновь вырастающего на глубоком и живом корне надежды на неизменную радость.

По обеим сторонам широкого бульвара далеко на тротуар выехали и раскинулись плетеные и железные стулья «Ротонды» и «Дома». Когда-то, когда я появился здесь, я вообще не мог понять, как можно уходить отсюда, отставляя стулья и отряхая пепел с пальто; мне казалось, что нужно вечно сидеть и говорить только о самом главном долгие ночи и, наконец, договориться, понять все тайны и задачи; и так, больше всего ненавидя тех, кто ранее всего разбивали очарование и порывались уходить, я ждал, и армянские анекдоты, еврейские, солдатские, генеральские, советские и марсельские, слой за слоем, бремя за бременем, как сажа, копоть, шелуха и нечистоты, накапливались на моей душе, помрачая свет и наводя тяжелое дымное остервененье.

Под широким желтым балдахином и прямо на солнце, развалясь, картавя и поправляя промежности, сидело местное общество. Мужчины острили и терзали земляные орехи, осыпанные их шелухой. Женщины грели на солнце широкие жирные плечи, а под низкими краями белых соломенных шляп глаза их казались животнo-сонными и светлыми. Здесь их было целое население, полдня проводившее в подробном и медленном омовении и раскрашивании своей кожи и в долгом самодовольном одевании, и, наконец, как пахучие эротические объекты, появлялись они на пороге кафе *du Dome*⁸, обязательно заказывая большую белую чашку кофе и округлым жестом положив на мрамор коробку американских папирос, чтобы застыть так в прекрасном развратном оцепенении, надменно шуря припухшие накрашенные веки, посылая многозначительные взгляды, принимая чужие пристальные, легким биением ресниц отталкивая недостойные, достаивая просительные.

И так часы и часы, как бы на пляже, наблюдают дивные и бессмысленные очи безостановочное шествие любопытных, самодовольные позы богатых иностранцев и жалкие жесты нищей художественной братии, которая, за неимением денег, жестикулирует, сидя на фати-

⁸ Дю Дом (*фр.*).

дической скамейке перед кафе на виду всех, всех пытаюсь презирать, всеми презираемая и достойная презрения, ибо жестоко и низко презирающая друг друга.

Там и я не раз сживал в тщетной надежде на «пару франков» или пару ботинок, в то время как под притворным равнодушием сердце мое доверху наполнялось неизъяснимым, непередаваемым отвращением к какому-нибудь особенно ненавистному аргентинскому юноше, который с животным аристократизмом улыбался, слушая тарабарщину.

Русские, женственно-чувствительные, вообще не умели стоически-величественно носить свою бедность, они всегда подражали кому-то одеждой – то каким-то бедным американцам, то художественному беспорядку, они тенденциозными голосами окликались друг друга, в поисках угощения кочевали между столами, разнообразно фальшивя, молчаливее и достойнее других были редкие довоенные эмигранты, двадцать лет сидящие здесь, про которых говорили, что когда земля начала освобождаться от потопа и выросла первая пальма, около нее появился столик и за ним – они; видимо, они еще помнили какую-то совершенно другую Европу.

Аполлон Безобразов, равнодушный к русским, охотно отводил от них глаза, иногда как бы запачкавшись, хотя он говорил, что так как мир сделан из единственного материала и подчинен единому закону, отбрасывать малейшую его подробность равносильно ненависти к целому, которое он с неистощимым добродушием разглядывал их и забывал, друг его или насмешник, но менее всего судья и обвинитель; этим он успокаивал меня, и я, забывая свое мучительное добро и зло, погружался в стихию зрения, подолгу любясь какой-нибудь здоровой раскрашенной женщиной, которая, в совершенстве овладев этим, то поднимала, то опускала тяжелые веки, окаймленные неестественными ресницами, как будто в них пульсировала какая-то таинственная и от нее не зависящая жизнь.

Абсолютно бесспиритуальная красота таких женщин была много загадочнее красоты одухотворенной, что-то апокалипсическое было в них, несомненно ни о чем не думающих, все решивших, все позволивших себе, какая-то откровенная и до абсурда доведенная роскошь земной жизни; все они верили в какие-то простые низменные вещи – в совокупление, в спорт, в деньги, в карточную игру, – и эта узкая, но твердая вера освещала их лица своеобразным спокойным титанизмом.

Все это двигалось, менялось, ело и смеялось перед застывшими одеревенелыми лицами местных проституток, неестественно набеленными. Они знали тут всех, и вне своих профессиональных обязанностей они держали себя сухо и сдержанно, даже бодро, разговаривали только между собою и ни в какие психологические излияния не вступали. Они, гарсоны и шоферы, были единственные здесь работающие среди праздных, они презирали здесь всех и чувствовали себя неизмеримо выше остальных.

Внутри кафе казалось темным – рядом с ослепительной пестротой веранды. Многочисленные зеркала, в которых иногда появлялась резкая солнечная полоса, казались зеленоватыми, и все пустое кафе – подводным бутафорским гротом. Из него мы любовались и, наскучившись зрелищем, вставали, наконец, и, зайдя в молочную лавку, отбывали обедать и ужинать на Монпарнасское кладбище.

Там, среди нагретых солнцем могильников, среди тщеславных барельефов и смиренных решеток, мы на скамье ели руками творог, пили сырые яйца сквозь маленькое отверстие и холодное кислотоватое молоко, затем мылись под краном, предназначенным для поливания кладбищенской флоры, и Аполлон Безобразов ложился отдыхать, высоко выставив коленку. «Пойдемте», – говорил я ему. «Погодите, нас сейчас отсюда выбросят». Действительно, вскоре в сопровождении молчаливого инвалида в зеленой форме и жестикулирующей черной старушки мы покинули кладбище и в душном закатном освещении отступили в сторону Gobelins⁹ с кинематографическими намерениями.

⁹ Авеню Гобелен (фр.).

Огромное солнце заходило, в облаке пыли мчались грузовики мимо высокой тюремной стены, все было тихо, истомлено жарой и театрально-торжественно освещено. Дети играли на тротуарах, скача и достигая заповедного квадрата с надписью «небо». Остальные назывались «понедельник», «вторник», «среда» и «четверг»; «небо» выпадало на воскресенье. Сидя перед своими магазинами, негромко переговаривался мелочный торговый люд.

У входа в кинематограф желто в дневном свете горели электрические лампы, скорее затемняя, чем освещая деревянные щиты с фотографиями и стены за ними, оклеенные особой бумагой, изображающей яркую кирпичную кладку.

Сосчитав деньги, мы задолго до начала представления устроились в одном из первых рядов из экономии, а также потому, что Аполлон Безобразов любил сидеть прямо перед огромным экраном и не видеть ничего иного. Задрали ноги на железную скобу ряда предыдущего и только иногда опускали одну из них, чтобы глухо топтать ею в пустоте. Наконец, редкие лампочки вспыхнули ярче, и по краткому звонку несложный оркестр нестройно, но бегло заиграл что-то довоенное, и вот уже белый-белый, молочный магический луч, пронесшись над нашей головой и вдруг окрасившись теплою желтизной, озарил высокий четырехугольник. Но, видимо, машина действовала неисправно, и восьмая серия «Зеленого стрелка», то удваиваясь, то делясь на отдельные статические изображения, прыгала перед глазами; тогда немногоголосый вопль раздавался в зале, вновь в голубой пелене папиросного дыма загорались лампы и было видно, что кинематограф был почти абсолютно пуст. Редко, подальше друг от друга, сидели потревоженные светом всклокоченные любовные пары, впереди – черноватый, необычайно волосатый молодой человек, видимо, неудачник, а направо, немного поодаль, молодая женщина в короткой юбке и дорогих чулках, непрерывно курившая и кривившаяся заплаканным лицом.

– Клуб самоубийц какой-то, – сказал Безобразов.

Но вот за невразумительным восьмым эпизодом, сразу введшим нас в темп кинематографической действительности, зеленоватой, но испещренной выстрелами, тогда еще бесшумными, чисто световыми, и по окончании фантастической, комической части, где все действие было в противоречии законам физики и вероятности, приведшей Аполлона Безобразова в буйное веселье, – причем, слушая его адский откровенный хохот, я подумал, что он может когда-нибудь незаметно для других сойти с ума, – на сцену, деревянно улыбаясь, вышел толстый молодой человек, раскрашенный как манекен, сходство с коим еще усугублял его дешевый, старательно выглаженный наряд, и запел удивительно неживым скрежещущим голосом что-то веселое. Аполлон Безобразов не слушал, однако был чрезвычайно доволен; занимала его необычайная, совершенно условная жестикуляция куплетиста, в чистоте сохранившего ложноклассическую традицию: он то прижимал руку к сердцу, то отводил ее не далее, но и не ближе, чем следовало по строгому канону, и наконец, подняв ее вертикально, спел даже что-то коммунистическое своего сочинения, во всем показав старую, из рода в род переходящую цирковую выучку.

И вот уже синими лучами, туманными мирами, далекими, недостижимыми солнечными ландшафтами появились и поплыли перед глазами фотографические мифы. Это были то лунные горы, снятые при дневном свете, то ассирийская архитектура небоскребов, то комнаты, полные качалок и преступников, мимо окон которых ежеминутно проносился поезд «элевтера». Там обсуждалось противозаконное деянье, а ничего не подозревающая молодая наследница на широкой белой машине уезжала в коричневую дрожащую фотографическую даль, но уже ее настигали решительные и добродушные второстепенные правонарушители, вскоре должны рассеяться и даже разлететься по воздуху, и вот уже две слонообразные головы великанов, неустанно посыпаемые нетающим борным снегом, пошевелив исполинскими глазами, соединились, наконец, образовав громадные кожные складки в заключительном губном прикосновении.

Опять в оркестре звякнуло что-то, и утомленная музыка миглом остановилась на половине фразы; и вот уже громко и дружно ударили сиденья, отскакивающие на пружине, красные влюбленные неловко отстранились, а мы отбыли в еще более нереальное царство пыльных деревьев, светящихся вывесок и передвижных мороженщиков. И мне заранее было известно, куда направляются наши заиндевшие стопы.

С детства любил Аполлон Безобразов фантастическую сень паноптикумов и музеев восковых фигур, луна-парков и гимнастических залов, их аляповатые облака из папье-маше, их легкие картонные готические своды, их ярко окрашенное железо, их пыль и запустение.

Он говорил, что только для человека, то есть для мыслимого, мир непроницаем и неподвижен, для Бога же, то есть для мыслящего о мире, все проницаемо, текуче и изменяемо по желанию столь же, как проницаемы и изменяемы для нас объекты нашего воображения или автоматы в паноптикуме, где все двигается, поет и загорается по произволу. Особенно любил он старые немецкие автоматы, например «тушение пожара» или «выезд президента», где тотчас же за исчезновением монеты начиналась сложная механическая возня, что-то тикало, и уже раскрывались дверцы маленькой пожарной части, из них выкатывались свинцовые повозки, а из трехэтажного домика, где горел электрический пожар, из верхнего окна периодически с важной настойчивостью высывалась фигурка погорельца.

Хиромантические аппараты интересовали его тоже: там загорались большие и тусклые лампы, жужжал регистрирующий механизм, в то время как рука, прижимающая десятки металлических пузырьков, индевела от напряжения. Женщины в стеклянных коробках железной рукою вынимали предначертания судеб и, четким жестом бросив в медный котелок, останавливались с неизменной улыбкой, а из иных с тихим шипеньем брызгало облачко нестерпимых аптекарских благовоний. В других звучала хриплая полустертая музыка, которая, как из отдаления, доносилась из грязных эбонитовых воронок. Затем контрольная лампочка гасла и музыка прекращалась. Зеркала слоноподобно изменяли посетителей, ружья на подставках бесшумно палили в электрические цели, а иные аппараты, потушенные и покрытые пылью, безмолвно хранили свои отшумевшие игрушечные тайны. Затем галерея поворачивала и, опускаясь вдоль ступеней, являла длинный ряд безнравственных стереоскопов, у которых, стыдливо смеясь, толкаясь и в восемь очес норовя смотреть в одно и то же тускло изнутри освещенное стекло, теснились неуклюжие загорелые солдаты с расстегнутыми воротами, как будто голубые коровы, введенные в комнату. Иногда глазоблудное приспособление отказывалось действовать, и они все громче и громче стучали в него ладонью, огорченные исчезновением скудных своих достатков, и растерянно озирались вокруг. Жаловаться в дирекцию они не решались. Да и необычайно толстая одноногая дирекция, сидя около искусственного соловья и витрины с шуточным калом и рвотными конфетами, не любила трогаться с места. Тихо и странно было внутри стереоскопов, там тоже зажигался пыльный желтоватый свет, и на серых негигиеничных постелях или из неусовершенствованных ванн появлялись улыбающиеся жирные женщины, являя антиморальные бедра и иные интересные места, к сожалению солдат, достаточно завуалированные. С металлическим треньканьем картина сменялась картиною, и вскоре последняя красавица так и замирала в неведомой своей пространственности четвертого измерения, высоко задрав недомытую ногу.

Дальше коридор, заворачивая, спускался в подвал со спортивными аппаратами. Широкая низкая комната была полна чудовищным металлическим населением на одной и двух ногах. Чугунный негр посередине груди являл кожаную подушку для ударов, сила которых тотчас же отмечалась на циферблате; кроме того, от особенно могущественных в глазах его зажигался тусклый свет, и он странно металлически пищал, не меняясь в лице; другие аппараты являли медные руки, ручки и рычаги, мячи, висающие на цепочке, а также ножные мячи, прикрепленные к полу. Дальше было еще одно неосвещенное отделение, где, как я думал, и помещалось самое интересное.

У одного из силомеров с двумя косыми рукоятями толпилось и галдело небольшое хмельное общество; в нем героем и центром внимания был толстый красный человек, периодически сдавленно восклицавший «ah voila!»¹⁰ или «sans blagues»¹¹; другой, маленький, в синем рабочем костюме, пьяным голосом доказывал, что ручки для него велики, но никто не допускал этих смягчающих обстоятельств. Скромно Аполлон Безобразов, стараясь казаться по возможности узкоплечим, протиснулся к динамометру. Пьяные силачи слегка расступились и с полуулыбкой смотрели, как он, слегка приседая, примаскивался к рычагам.

Потом стрелка, дрогнув, вышла из неподвижности и, постепенно зажигая контрольные жучки, показала 100, 250, 500, 750; около 900 она заколебалась, но он судорожно скривился, и стрелка метнулась к 1100.

– Nous mais il est ride le mec¹², – сказал из-за спин краснощекий солдат, тот самый, что в коридоре бил по стереоскопу. Великан, презрительно вытаращив губы, спросил:

– Comment done on s'y prend?¹³ – И, грозно насупившись, взялся за рукояти. Стрелка охотно двинулась с места и бодро пошла по кругу, но, дойдя до 800, она покачалась немного и остановилась. Рычание, судорожное усилие, стрелка переползла на 850. Невозможно было не заметить той переоценки отношений, которая произошла вокруг силомера, Безобразову прекрасно знакомого и на котором он годами уже тренировался. Великан как-то сразу уменьшился в росте, маленький синий человек почти торжествовал, остальные ожили.

– Mais il ne faut pas tirer!¹⁴ – сказал он нехотя. Тогда Аполлон Безобразов с возможной медленностью повторил упражнение, дойдя на этот раз ровно до тысячи.

– Et vous voyez!¹⁵ – смущенно сказал быкообразный и отошел. Однако на других аппаратах он остался победителем, хотя Аполлон Безобразов ни на одном не отставал далеко, ибо, состязаясь с сильнейшим, он в этот вечер побил несколько своих рекордов, которые были тотчас же записаны карандашом на масляной краске стен, видимо, никогда не мытых, где одна из надписей имела уже пятилетнюю давность.

Видимо, Аполлон Безобразов превосходил себя в этом подвале. Никогда я не видел его таким серьезным. Лицо его обезобразивалось от напряжения, шея наливалась кровью, и сразу же после упражнения кровь отливала от него и оно становилось бледным. Солдаты с суеверным уважением наблюдали за ним. Досаду же свою пьяная свита толстяка срывала на мне. Узкие железные ручки причиняли боль моим неисканным рукам, и стрелка, попрыгав, останавливалась где-то около 50, 100, 150 и ни за что, как железная гора, не двигалась уже с места.

В минуты усилия страшно было лицо Аполлона Безобразова, когда, побеждая границы естества, он всю свою моральную, может быть, даже духовную энергию вкладывал в невероятное напряжение своих рук до боли, до красных кругов перед глазами, до мягко плывущих во все стороны огненных завитков. И как бы сквозь сон, как райский свет, видел он все выше и выше загоравшиеся над ним лампочки; и вот, наконец, как пение Валькирий, уносивших его душу, слетал к нему громкий трезвон широкого круглого колокола на исходе пружины автомата. Часто только на улице замечал он, что до крови разбил себе руки, и они напухли высоким кровавым бугром, и, кажется, все деньги до последней копейки растратил бы он, опуская их без счета за всех присутствующих в металлическое брюхо спортивных Молохов.

¹⁰ «И вот!» (фр.).

¹¹ «Ты всерьез?» (фр.).

¹² Силен, однако, парень (фр.).

¹³ За что тут взяться-то? (фр.).

¹⁴ Смываться не надо! (фр.).

¹⁵ Ну и ну! (фр.).

Ах, если бы хоть часть этой дикой энергии можно было пробудить на благую деятельность, не на пустяки и на миг; и опять он совершенно успокоился, и она заснула в преисподней, из которой путь к жизни преграждало великолепное его «зачем».

Глава IV

«Je sins Dieu», – dit Faustrole. «Ha, ha!» – clit Bosse de Nage sans plus de commen-taires.
*Alfred Jarry*¹⁶

Тем временем на улице пошел дождь, и по тротуарам вытянулись, расплываясь, зеленоватые и красные отражения. Обсасывая со всех сторон свое мороженое, мы постояли в нерешительности под каким-то навесом, вслушиваясь в отдаленное и непрерывное дребезжание звонка, означающего возобновление представления в иллюзионе; впрочем, соседние биографы тоже подавали голос, и сквозь слабый шум воды непрерывно слышалось, как жалобно подпрыгивает звуковая горошина в металлическом горле звонка. И вот уже один из них остановился, пора было двигаться. Впрочем, холодная вафля в моих ослащенных пальцах сделалась уже совсем тоненькой и скоро сама, как заключительное наслаждение, должна была быть съедена.

Мы еще раз посмотрели на пышную, ядовито-зеленую сень деревьев, неестественно освещенную снизу, вышли из неподвижности и, тотчас же промочив ноги, бегом миновали стоянку автобуса «Н», дошли до писатьера, находящегося против универсального магазина, закрытого в этот час, но, не доходя до Port Royal Cinema¹⁷, были остановлены веером разгонявшим воду и во всю прыть подъехавшим такси de Dion Bouton.

Бодрый молодецкий голос окликнул Безобразова:

– Алло, Аполлон, полезайте в машину и молодого человека тоже с собой берите, сегодня Маруси Николаевны именины в ателье Гробуа, и они непременно наказали вас сыскать.

В голосе этом, принадлежащем толстеющему, лысеющему, но необыкновенно молодеватому морскому офицеру Косте Топоркову, было столько ласкового и вместе с тем наглого русского удалства, столько заразительного буйства какого-то, что, не зная ни что, ни куда и оставив мысль о соблазнительном сарае, пахнущем преступниками, мы, нагибаясь, тотчас полезли в кибиточку и скоро, раскачиваясь в разные стороны, нагруженные бутылками, со страшной скоростью выехали в пустынный impasse de la Photographie¹⁸. Зажженные фонари ярко осветили низкую каменную стену, несущуюся нам навстречу, но вдруг пронзительный визг огласил воздух, и автомобиль с остановившимися колесами, протачившись по жирной мостовой, ударил в забор, осыпая штукатурку, и остановился подле полуразрушенного строения, похожего на фабрику.

– Ну, вылезайте! – раздался опять тот же нагло-веселый голос, и, поднимаясь по темной разбитой лестнице, мы уже издали слышали громкий, ритмично заглухающий рев граммофона и радостно и неприятно, как-то против воли, оживились. Но это была ложная тревога, ибо сами хозяева ждали Топоркова, чтобы ехать на rue du Dragon¹⁹, куда за многолюдностью было перенесено торжество.

Опять носило нас и бросало из стороны в сторону в тесной коробке, обитой материей, но на этот раз нас уже было больше, и в беспорядочном смехе сидящих друг на друге людей и в невпопад громких их словах уже предчувствовалась радость какого-то близкого освобождения и надежда на распутство.

¹⁶ «Я – Бог», – сказал Фаустроль. «Ха-ха!» – ответил Босс де Наж без излишних комментариев. *Альфред Жарри (фр.)*.

¹⁷ Кинотеатр «Порт-Руаяль» (фр.).

¹⁸ Тупик Фотографии (фр.).

¹⁹ Улица Дракона (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.